

ДАЛЬ ГОГОЛЯ

Когда я прочел в книге Ю. Манна «Поэтика Гоголя» замечание Вальтера Скотта о том, как «современные писатели стремятся проложить новые пути и тропы в зачарованном лесу» чудесного, то мне захотелось этими же словами сказать о том, что происходит в самом «гоголеведении». Поводом для этого служат и сама названная книга, и «Гоголь» Игоря Золотусского.

Они очень разные по жанру, по задачам, которые ставили перед собой авторы. Ю. Манну, по его словам, «не хотелось повторять известное», и он сосредоточил свое внимание на некоторых важных, с его точки зрения, гранях гоголевской поэтики. И поначалу его книга может какое-то время казаться торопливому читателю слишком уж специальной, пунктуальной, скрупулезной, пока он не почувствует, что автор все дальше и дальше «заводит» его в «зачарованный лес» гоголевского художественного мира, настойчиво обращая наше внимание на волшебство писателя — на неисчерпаемость смысла, стоящего за, казалось бы, хрестоматийными образами. И в анализе ранних повестей Гоголя, и в обстоятельных размышлениях о «Ревизоре», «Шинели», «Мертвых душах» исследователь тонко демонстрирует создающуюся «вокруг гоголевского художественного мира сложную и не сводимую ни к какому однозначному определению смысловую вибрацию».

Даже сам стиль автора книги как бы намагничивается от соприкосновения с этой могучей творческой стихией и, после первоначальной сдержанности, приобретает раскованность и легкость (но отнюдь не легковесность), порою даже неожиданные в так называемом «ученом труде». «Ревизор» — это

целое море страха», — заключает Ю. Манн одно из своих рассуждений об этой панической суетне, когда «с первых же минут открытия «ревизора» к нему почти рефлекторно потянулась длинная цепь взяточдателей, и последующей оторопи, когда мираж растаял и на месте грозного сановника, по лукавому замечанию исследователя, оказалось «совершенно гладкое место», как говорится в «Носе».

«Сегодня мы имеем возможность подойти к гоголевской поэтике с более тонкими мерками», — сказано на заключительных страницах книги. С такими же мерками можем мы ныне подойти и ко всему образу гениального писателя со сложной и трагической судьбой — не только при жизни, но и перед судом потомства.

Создавая биографию Гоголя для серии «Жизнь замечательных людей», Игорь Золотусский меньше всего старался сделать своего героя иконописным. Он не только правдиво обрисовывает иные, впрочем, легко объяснимые — так и хочется сказать: извинительные, если бы Гоголь нуждался в этой наивной амнистии! — черты житейского поведения молодого пришельца с Украины, отчаянно стремящегося «завоевать» суровый, неприступный Петербург, или элементы юношеского тщеславия, но даже «посягает» на благостное представление о ничем не омраченном сотрудничестве, чуть ли не тесной дружбе с Пушкиным, убедительно показывая и бытовую отдаленность их друг от друга, и разность умонастроения, и даже расхождение по вопросам литературной политики новорожденного журнала «Современник».

Говоря о жарком приступе Гоголя к занятиям историей, Игорь

Золотусский замечает: «Как и во всех своих предприятиях, затеваемых горячо, он перебарщивает, пересаливает, разбегается, не оглядываясь, видя впереди уже одни сверкающие успехи». И нечто от этого же склада характера усматривает и в драматической истории с «несчастной книгой» «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Увлечение, увлечение слышится здесь. Оно распространяется даже на письма к домашним, которые тоже теряют тепло и превращаются в списки выработанных для сестер и матери правил... и стихия евангелического поучения, которое гораздо гуманнее в первоисточнике, смешивалась в его языке с речью какого-нибудь блюстителя нравов, им самим высмеянного».

Но этот «карающий огонь максимализма», как выразился однажды автор, горел прежде всего в душе самого Гоголя и пожирал ее, быстро превращая юношу во цвета лет в человека, надорванного лихорадкой мысли и трудом, приносящим не только высокое наслаждение, но и горькую муку, человека, который уже трепетно благодарит судьбу за продление его жизни для завершения «Левиафанов», являвшихся ему в творческих мечтах.

Вечная, неутолимая тоска — по художественному совершенству, по службе, на которой мог бы он приносить пользу родине, по России со всеми ее муками, неизвестными, предстоящими ей путями и опасностями — изводила и подхлестывала этого хрупкого человека, который тем не менее был в борениях с трудностями силач необычайный.

Ю. Манн замечает, что «синтетическое задание» «Мертвых душ» — изобразить «всю Русь», с ее вершинами и низинами,

«предполагало длительное дозревание замысла, просматриваемого через «магический кристалл» времени и приобретаемого опыта». Но все было против этого длительного дозревания — и безденежье, и бездомье, и депотическая любовь друзей, и схватка литературных партий вокруг творчества Гоголя, и медленный ход отечественного прогресса, и, наоборот, пугающе-стремительный, грозящий неслыханными прежде конфликтами и катастрофами грохот европейских событий.

«Слышавший уже в те годы отшельником и монахом, как он сам называл себя, Гоголь отнюдь не проглядел своего века», — страстно утверждает Игорь Золотусский и далее пишет: «...раскалывался не Гоголь, а русское сознание; как богатый из сказки, выходило оно на развилку и задумывалось в тревоге: куда идти? Направо пойдешь... налево пойдешь... прямо пойдешь...».

И в самом деле, знаменитый спор Белинского с Гоголем, в котором один «предлагал усовершенствовать общество», а другой — «каждую «единицу» общества», — спор, интересно и самостоятельно проанализированный в главе «Диалог», — это же борение внутри русской общественной мысли, жаркая схватка, по интеллектуальному накалу как бы предвещающая иступленные искания истины в словесных дуэлях, а то и в монологах одного-единственного, разрываемого противоречиями героя, запечатленных на страницах Достоевского.

Биограф пишет о том, как Гоголь «находил в себе силы услышать правоту критик», как от них «позвело на него вновь родной» и он снова захотел «подняться» — в следующих томах «Мертвых душ».

Ю. Манн не раз с горестным сожалением останавливается перед вопросом, каково должно было быть завершение этой поэмы. Игорь Золотусский же страстно старается доискаться

любой возможности воскресить эти, по большей части канувшие в огонь страницы.

В огонь не просто камина в доме на Никитском бульваре, но вечного гоголевского максимализма, неудовлетворенности, страха произвести на свет нечто недостойное его замыслов и таланта.

Испепеленный труд... Испепеленная жизнь вечного странника, не согретого лучом сердечной привязанности (с большим тактом, так же, как страницы сожженной книги, восстанавливает Игорь Золотусский перипетию последнего, а то, быть может, и вовсе единственного любовного «романа» великого писателя с графиней Вельгорской, в «безумии» которого Гоголь горько «кается... как Поприщину, тоже дерзнувший взглянуть на генеральскую дочь)... Хватающая за сердце бедность: в последних строках книги биограф почти дрожащими губами повторяет след за кварталным надзирателем, описывающим имущество «скончавшегося от простуды коллежского асессора Гоголя»: «Шуба енотовая... старая, довольно ношенная... черное плюстриновое пальто старое... семь шерстяных старых фуфаяк...».

А нам в наследство он оставил великое духовное богатство, уцелевшее во всех пожарах и бурях, пронесшихся над миром.

Это зрительный обман, что бронзовый Гоголь, понуро сгорбившийся на постаменте возле своего последнего земного обиталища, — маленького роста! Откройте любую его страницу, и он встанет перед вами во весь свой истинный исполненный рост.

Таков общий смысл двух новых книг о Гоголе.

Игорь Золотусский заметил о пейзажных страницах второго тома «Мертвых душ»: «Тут что ни кусок дороги, то даль...».

И нечто подобное хочется сказать о самих этих книгах.

Андрей ТУРКОВ